

Александр Восьмой



Коса 6. «Семь печатей из бересты»

Александр Восьмой

Коса 6. «Семь печатей из бересты»

<https://litres.ru/74563678>

SelfPub; 2026

Аннотация

В старой церкви, запечатанной ещё при царе, нашли ларец с берестяными письмами. Каждый, кто прочтёт письмо вслух, освобождает то, что было запечатано. Семь писем — семь сущностей. Первые шесть похожи на людей и ведут себя прилично. Седьмое письмо никто не открывал — потому что на нём написано: «Не читай, если хочешь остаться собой».

Александр Восьмой

Коса 6. «Семь печатей из бересты»

Глава 1. Церковь, которую не открывали триста лет

Замок рассыпался в ладонях, как сухой хлеб — будто время само стёрло металл в пыль. Дверь скрипнула, и из темноты пахнуло ладаном и сырой землёй, словно церковь не просто стояла закрытой, а дышала во сне, сберегая свой секрет.

Первые, кто вошёл, замерли на пороге: воздух здесь был густым, будто его можно было резать ножом. В центре, на алтаре, лежал ларец из старого дуба, потемневшего до цвета запекшейся крови. Он был перевязан кожаным шнуром, задубевшим от времени, — тот не поддавался, будто жил своей жизнью, сжимал дерево, как пальцы, что не хотят отпускать.

Когда шнур наконец лопнул с сухим треском, похожим на щелчок кости, крышка приоткрылась, и внутри, в слое серой пыли, лежали семь берестяных писем. Они были исписаны почерком, которому давно неоткуда взяться: буквы вились, как змеи, цеплялись друг за друга, будто писавший боялся, что слова разбегутся.

Шестеро из них выглядели почти по-человечески — ровные строки, знакомые буквы, даже интонация угадывалась: просьбы, признания, жалобы, будто кто-то хотел оставить

след, но не смог уйти дальше порога. А седьмое письмо лежало отдельно, чуть в стороне, будто его боялись трогать даже в темноте. На нём, отдельной строкой, тонким процарапанным почерком, выведено: «Не читай, если хочешь остаться собой».

Андрей, который первым протянул руку к ларцу, на секунду замер. Ему показалось, что береста шевельнулась под его взглядом — не от ветра, а сама по себе, как живое существо, что чувствует приближение тепла и боится его. Но любопытство оказалось сильнее страха. Он взял первое письмо, развернул его, и бумага захрустела, будто в ней пересохли все соки мира.

— «Прости меня, — тихо прочитал он, и голос его прозвучал в тишине церкви слишком громко, как крик в пустой комнате. — Прости, что я не смог удержать дверь».

Едва последние слова сорвались с его губ, воздух в церкви дрогнул. Где-то в глубине, за алтарём, раздался тихий, едва уловимый звук — будто кто-то провёл ногтем по камню. И в тот же миг тень, лежавшая у стены, шевельнулась и стала чуть плотнее.

Никто не понял, что именно изменилось. Но все одновременно почувствовали: они больше не одни. И самое страшное было не в том, что в церкви кто-то появился, а в том, что теперь они знали: это только начало. Шесть писем ещё ждали своего часа. И седьмое — с той самой строкой — по-прежнему смотрело на них, как предупреждение, которое уже ни-

кто не мог игнорировать.

Глава 2. Первое письмо — Голодная Снегурочка

Пономарь читал письмо дрожащими пальцами, будто боялся, что береста укусит. Слова липли к языку, как смола, и с каждым звуком воздух в церкви становился тяжелее, будто сам дом прислушивался и не хотел отпускать эту тайну обратно во тьму.

— «Прости, что я не смогла удержать дверь», — повторил он последнюю строчку, и голос его утонул в тишине, словно капля в колодце.

А наутро в сенях пахло морозным ветром и печёным хлебом — запах, который не мог взяться ниоткуда: зима ещё не пришла, а пекарни в деревне не работали с вечера. На лавке у печи сидела девочка. Белая, как иней. В платке, завязанном под подбородком, с большими добрыми глазами, в которых не было ни страха, ни злости — только тихая, глубокая усталость, какая бывает у тех, кто слишком долго ждал.

Она не плакала. Не тянула руки. Не просила ничего громкого. Только тихо сказала:

— Можно тёплой краюхи? Совсем чуть-чуть...

И в этом «чуть-чуть» было столько надежды, что никто не посмел отказать. Андрей отрезал ломоть свежего хлеба, посыпал солью, положил на деревянную тарелку — и девочка взяла его обеими руками, будто держала не еду, а чью-то жизнь. Ела она медленно, аккуратно, не кроша, будто боя-

лась рассыпать даже крошки. А когда доела, подняла глаза и улыбнулась — так светло, что на мгновение показалось: всё будет хорошо.

Потом она встала, поправила платок и пошла к стене — не к двери, а прямо к глухой кирпичной кладке, где ещё вчера не было ни щели, ни трещины. Следы её босых ног отпечатались на полу: маленькие, аккуратные, будто вырезанные в пыли. Она шагнула — и стена не остановила её. Просто приняла, как принимает вода камень: без всплеска, без звука.

Когда дверь в сени распахнулась и ворвался утренний свет, на скамье осталась пустая миска. И ещё — тонкий слой инея на дереве, будто холод пришёл вместе с ней и теперь не хотел уходить. А на пыльном полу тянулась цепочка следов, которая обрывалась ровно там, где начиналась стена.

Никто не знал, куда она ушла. Но все поняли: она не исчезла. Она просто вернулась туда, откуда пришла. И самое страшное было не в том, что девочка умела проходить сквозь стены, а в том, что она была... почти нормальной. Слишком нормальной, чтобы быть настоящей.

К полудню запах мороза не выветрился. Наоборот — стал гуще. И когда Андрей наклонился, чтобы стереть следы, пыль под его пальцами оказалась ледяной. Он поднял голову и увидел, что на внутренней стороне двери, прямо над косяком, проступил тонкий узор из инея — словно чья-то рука провела по дереву, оставляя невидимые письма.

В тот момент все вспомнили про ларец. Про шесть остав-

шихся писем. И про седьмое, с той самой строкой: «Не читай, если хочешь остаться собой». И впервые за всё время кто-то тихо, почти шёпотом, спросил:

— А что, если остальные будут не такими добрыми?

Но ответа не было. Только тишина, в которой уже слышался чей-то тихий, едва уловимый шёпот — будто кто-то в темноте перелистывал страницы, готовясь к следующему чтению.

Глава 3. Второе письмо — Слепой Дед, что поёт на два голоса

Пономарь не хотел читать второе письмо. После появления девочки с глазами, в которых жила зима, ему казалось, что каждое слово, сорвавшееся с губ, тянет за собой из тьмы что-то живое. Но ларец лежал на столе, будто нарочно подставляя под взгляд кожаную петлю, стягивающую бересту, а Андрей смотрел на него так, будто ждал, что пономарь сделает то, на что у самого Андрея не хватало духу.

— Прости, что я не смог удержать дверь, — снова прозвучало в церкви, и на этот раз фраза легла на воздух, как тяжёлый плащ: все невольно втянули головы в плечи, будто ждали удара.

А к вечеру пришёл старик. Не из темноты, не из щели в стене — он просто оказался у печи, будто сидел там всегда, только раньше его никто не замечал. Он был в старом тулупе, с лицом, исчерченным морщинами, как карта забытых

дорог, а глаза у него были белые, затянутые мутной плёнкой — будто кто-то налил в них молоко и оставил застывать.

Он не просил хлеба. Не тянулся к огню. Только тихо улыбался, кивал, будто слышал что-то, недоступное остальным, и время от времени напевал себе под нос колыбельную — такую простую, что она цеплялась за память, как репейник. Голос у него был мягкий, тёплый, словно сотканный из старых воспоминаний, и от него на душе становилось чуть спокойнее.

К ночи все понемногу расслабились. Даже Андрей, который до этого не сводил глаз со старика, наконец откинулся на лавку и прикрыл веки. И тут песня изменилась.

Она осталась той же — те же ноты, тот же ритм, — но вдруг в ней появился второй голос. Тихий, едва уловимый, он шёл не изо рта старика, а будто из самой темноты за его спиной. Первый голос пел про звёзды и сон, про тихие дворы и тёплый хлеб. Второй — шептал. И в этом шёпоте не было слов, которые можно было разобрать сразу, но смысл пробирался под кожу, как холод: он говорил о земле, о глине, о том, как дерево становится трухой, а кости — пылью.

Те, кто засыпал под этот двойной напев, видели один и тот же сон — или, вернее, один и тот же кошмар. Они стояли у гроба и смотрели на себя. На себя — неподвижных, с закрытыми глазами, с руками, сложенными на груди. Вокруг толпились люди, чьи лиц нельзя было разглядеть, они тихо переговаривались, и в их голосах слышалось не горе, а об-

легчение — будто наконец-то всё закончилось. А потом кто-то из толпы поднимал голову, смотрел прямо на спящего — и улыбался. И от этой улыбки хотелось проснуться с криком, но тело не слушалось.

Первой вскочила девочка Лиза, племянница пономаря. Она села на лавке, дрожа всем телом, и прошептала:

— Я видела себя мёртвой. И они... они были рады.

Пономарь бросился к ней, обнял, стал шептать, что это просто сон, но сам не верил своим словам. Потому что на лице старика по-прежнему играла та же тихая улыбка, а песня всё лилась — теперь уже только одним голосом, чистым и безобидным, словно второго никогда и не было.

Андрей подошёл к старику и тихо спросил:

— Что ты делаешь?

Старик повернул к нему слепое лицо и ответил спокойно, будто речь шла о чём-то будничном:

— Пою, чтобы им не было страшно. Они ведь всё равно туда придут. Так пусть хоть немного привыкнут.

В комнате стало так тихо, что было слышно, как в печке оседает зола. Никто не знал, что ответить. А старик снова запел — и на этот раз никто не закрыл глаз. Все сидели, вцепившись пальцами в края лавок, и смотрели, как тени пляшут по стенам, будто торопятся куда-то, пока ещё есть время.

Позже, когда рассвет наконец разогнал темноту, старик исчез так же незаметно, как и появился. На его месте у печи

осталась только горстка пепла — не от дров, а будто от чего-то сгоревшего изнутри. И ещё — на стене, прямо над тем местом, где он сидел, проступил тонкий узор: семь пересекающихся линий, похожих на нотный стан, только написанный дрожащей рукой.

Никто не решался заговорить о том, что видел во сне. Но все думали об одном и том же: если первое существо было голодным, а второе — слепым и поющим, то что принесут следующие письма? И самое главное — что будет, если кто-то всё-таки прочтёт седьмое, с той самой строкой: «Не читай, если хочешь остаться собой»?

Ларец по-прежнему стоял на столе. Его крышка была открыта, будто ждала следующего голоса, который разорвёт тишину и впустит в мир что-то ещё более древнее и безжалостное.

Глава 4. Третье письмо — Соседка с помадой цвета рябины

Жена старосты взяла бересту не из страха и не из долга — из любопытства. Ей казалось, что если первые две сущности были странными, но понятными — голодной девочкой и слепым дедом, — то третья окажется просто печальной историей, которую можно выслушать, как старую сплетню, и потом спокойно перекреститься, будто всё обошлось.

— «Прости, что я не смогла удержать дверь», — произнесла она, и голос её прозвучал в церкви непривычно звон-

ко, будто она хотела перекричать саму тишину, чтобы та не успела ничего подхватить и унести в темноту.

К утру в деревне появилась женщина. Не из леса, не из тумана — она просто стояла у колодца, будто ждала, пока её заметят. Румяная, в тёплой шали, с корзинкой, из которой пахло свежим хлебом и яблоками. На губах — помада цвета спелой рябины, яркая, почти вызывающая среди серых деревенских красок. Она улыбалась так искренне, что никто не подумал её бояться.

Она здоровалась с каждым по имени, будто знала всех с детства, и при этом в её приветствии было что-то такое, от чего хотелось расправить плечи и поверить, что день будет добрым. Приносила пироги, рассказывала короткие истории про погоду, про старые тропы, про то, как раньше жили, — и всё это так ласково, что люди невольно тянулись к ней, как к костру в мороз.

Но была в ней одна странность, которую заметили не сразу. Каждое утро она здоровалась — и это было тепло, почти родное. А каждый вечер она прощалась. И прощалась так, словно видела впереди что-то, чего не видели остальные. Не «до завтра», не «спокойной ночи» — а именно «прощай». С лёгкой грустью, с долгим взглядом, будто хотела запомнить лица. И от этого «прощай» по спине бежали мурашки, хотя голос у неё был самый обычный.

Сначала на это не обращали внимания. Потом начали замечать другое.

В один день Иван, который всегда откликался на своё имя с полуслова, вдруг не услышал, когда его позвали. А когда окликнули снова, повернулся и тихо сказал:

— Меня зовут не Иван.

— Как не Иван? — переспросил сосед. — Да ты с детства Иван!

— Не помню, — пожал плечами тот. — Теперь меня зовут иначе.

И имя, которое он называл, было незнакомым, чужим, будто выдуманным на ходу. Но он произносил его так уверенно, будто оно всегда было его собственным.

Потом стало хуже. Дети, которые ещё вчера без раздумий бежали на зов «Маша!» или «Петя!», теперь замирали, будто имя звучало на чужом языке. А потом отвечали чем-то другим — словом, которого никто не знал. И самое жуткое: они произносили его без запинки, как будто оно было им родным.

Однажды маленькая Катя, увидев мать, подбежала и вместо привычного «мама» сказала:

— Та, что греет.

Мать замерла, будто её ударили.

— Катя, ну что ты говоришь? Я же мама...

— Да, — спокойно ответила девочка, будто объясняла очевидное. — Но моё слово для тебя — другое.

А вечером, когда женщина с помадой цвета рябины снова попрощалась — на этот раз с самой Катей, — девочка кив-

нула ей так, будто поняла что-то очень важное. И в этом кивке было столько взрослой печали, что у матери подкосились ноги.

Андрей и пономарь встретились у опушки, где кончались дома и начинался лес.

— Надо остановить это, — сказал Андрей, глядя на деревню, которая с каждым днём становилась всё менее знакомой. — Она не просто приходит и уходит. Она стирает нас.

Пономарь кивнул, но в глазах у него была усталость.

— А как? Мы не знаем, что она делает. Она не кричит, не угрожает. Она просто... забирает имена. А без имени человек становится тенью.

Тем вечером женщина снова появилась у калитки старосты. Она держала в руках пирог, тёплый, с золотистой корочкой, и улыбалась той самой улыбкой, от которой раньше становилось светлее.

— Возьмите, — сказала она мягко. — Пусть будет хоть что-то хорошее.

Староста хотел отказаться, но жена его, бледная, с тёмными кругами под глазами, взяла пирог.

— Спасибо, — прошептала она. — Мы... мы не знаем, как с этим быть.

Женщина чуть наклонила голову, будто прислушиваясь к чему-то далёкому, и тихо сказала:

— Вы и не должны знать. Просто помните: когда я скажу «прощай», это будет правда.

И ушла. Не торопясь. Так, будто у неё впереди ещё целая вечность.

Когда она скрылась за поворотом, староста сжал кулаки и посмотрел на церковь, темнеющую на краю деревни.

— Больше никто не читает писем, — сказал он твёрдо. — Хватит.

Но ларец всё ещё стоял там. И в нём оставались ещё три письма. А седьмое — с той самой строкой — будто ждало своего часа, чтобы напомнить: «Не читай, если хочешь остаться собой».

И в ту ночь деревня спала беспокойно. Люди ворочались, шептали во сне чужие слова, звали друг друга именами, которых не знали утром. А где-то в темноте, за пределами света фонарей, кто-то тихо напевал — не песню, а просто набор звуков, похожих на забытый язык. И казалось, что сама земля под домами чуть дрожит, будто готовится к тому, что будет дальше.

Глава 5. Четвёртое письмо — Мальчик, который не моргает

Четвёртое письмо вскрыли не в церкви — слишком страшно было возвращаться к ларцу, будто он сам тянул к себе руки. Его развернули дома, в избе старосты, при дрожащем свете сальной свечи. Пламя металось по стенам, отбрасывая тени, которые казались длиннее и злее обычного, а воск стекал по подсвечнику, как слёзы по щекам.

Староста читал тихо, почти шёпотом, будто надеялся, что если не кричать слова в темноту, то они не долетят туда, где их ждут. Но каждое «прости» падало в тишину, как камень в стоячую воду, и круги от него шли дальше, чем хотелось.

— «Прости, что я не смог удержать дверь», — закончил он и опустил бересту, будто боялся держать её даже секунду дольше.

В углу, где до этого была только тень, теперь стоял мальчик лет семи. В простой холщовой рубаше, босой, с волосами, прилипшими ко лбу, будто он долго бежал сквозь дождь. Он не моргал. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, как лёд на первом морозе, и в них не было ни страха, ни любопытства — только бесконечное, неподвижное внимание.

Он не плакал. Не просил есть. Не тянулся к теплу. Просто стоял и смотрел.

Сначала никто не понял, что происходит. Потом заметили яблоко на столе — то самое, румяное, которое жена старосты положила утром. На его гладкой коже появилась тонкая тёмная линия, будто трещина в стекле. Через минуту она расползлась, и мякоть под ней стала рыхлой, серой, будто её изнутри выели невидимые жуки. Ещё через мгновение от яблока пошёл слабый, сладковатый запах гнили.

Потом начал темнеть хлеб на полке. Доски пола под ногами мальчика пошли тёмными пятнами, как пролитая тушь. Оконная рама, крепкая ещё вчера, вдруг стала рыхлой: стоило коснуться — и щепка крошилась в пальцах, будто дерево

сто лет пролежало в воде.

Собака, старая, верная, что лежала у порога, подняла голову, посмотрела на мальчика — и тут же легла, будто устала. Она не скулила, не дёргалась. Просто закрыла глаза, и шерсть на её боках стала тусклой, как выгоревшая трава. А когда староста наклонился к ней, она уже не дышала.

Тишина в избе стала густой, почти осязаемой. Никто не кричал. Никто не бросался к двери. Все будто приросли к полу, прикованные этим немигающим взглядом.

Старуха из дома напротив зашла, как обычно, за солью. Она остановилась на пороге, посмотрела на мальчика, потом на почерневший хлеб, на рассыпающуюся раму — и вдруг тихо, без всякого пафоса, сказала:

— Ох...

И этого «ох» хватило, чтобы все поняли: случилось непоправимое.

Мальчик повернул голову — медленно, будто шея у него была из старого дерева — и посмотрел на старуху. Не зло, не с ненавистью. Просто посмотрел. Долго. Не моргая.

Через несколько минут её шаль стала серой, будто пыль въелась в каждую нитку. Лицо, ещё минуту назад морщинистое, но живое, вдруг как будто потеряло цвет — кожа стала восковой, тусклой. Она покачнулась, оперлась о косяк, хотела что-то сказать, но голос не послушался.

Жена старосты бросилась к ней, подхватила под руку, но старуха уже не держалась на ногах. Её пальцы, только что

тёплые, стали холодными и сухими, как ветки зимой.

— Уведите его! — вдруг крикнула жена, и крик её прозвучал в избе как удар колокола. — Уведите, пока он не посмотрел на нас!

Но куда вести? Куда прятать то, что не просит еды, не плачет, не устаёт — и убивает одним взглядом?

Староста шагнул к мальчику, протянул руку, хотел схватить, унести, закрыть ему глаза хоть рукавом — но не смог. Что-то в этом неподвижном взгляде держало крепче любой цепи.

А мальчик всё смотрел. На стену. На стол. На людей. И там, куда он смотрел, жизнь тихо, незаметно угасала, как фитиль, залитый водой.

К утру изба старосты стала похожа на дом, покинутый много лет назад. Пол прогнил, рамы рассыпались, на полках лежала труха вместо хлеба, а на пороге — старая собака, которую уже нельзя было узнать. Старуху успели увести, но она больше не говорила. Сидела у печи, смотрела в угол и шептала что-то на языке, которого никто не знал.

Когда рассвело, мальчика в избе не было. Но на стене, прямо над тем местом, где он стоял, остался след — не отпечаток руки, не пятно, а будто сама тень вьелась в дерево. И если присмотреться, казалось, что глаза в этой тени всё ещё открыты.

Деревня замерла. Люди старались не смотреть друг на друга слишком долго, будто боялись, что взгляд может стать

проклятием. В каждом доме прятали яблоки, накрывали хлеб тряпками, проверяли доски пола — и вздыхали с облегчением, если они ещё держались.

Ларец по-прежнему стоял в церкви. Три письма оставались внутри. А седьмое — с той самой строкой — лежало чуть в стороне, как тихий, настойчивый голос, который шептал: «Не читай, если хочешь остаться собой».

И чем дольше деревня молчала, тем громче звучала эта фраза в головах у тех, кто помнил её наизусть.

Глава 6. Пятое письмо — Жених в дырявых сапогах

Пятое письмо попало в руки Насте — девке, что тайно хотела замуж. Не из-за хозяйства, не ради тепла, а потому что ей казалось: если кто-то назовёт её своей, значит, она по-настоящему есть, не просто тень в длинной избе, не лишний голос в шумной семье. Она нашла бересту не в ларце — та сама будто прилипла к её ладони, когда Настя, дрожа от холода и любопытства, наклонилась над столом в опустевшей церкви. Никто не видел, как она поднесла её к губам. Никто не успел остановить.

— «Прости, что я не смог удержать дверь», — прошептала она, и слово «дверь» прозвучало так, будто за ним что-то тяжело сдвинулось — не в церкви, а где-то глубже, в самой земле.

А к вечеру в деревню пришёл жених.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.